
Александр Татун
ПРОТОКОЛ

Александр Татун

ПРОТОКОЛ

«Автор»
2026

Татун А.

ПРОТОКОЛ / А. Татун — «Автор», 2026

Андрей Соколов — заведующий реанимацией, человек протокола. Когда единственный аппарат искусственного дыхания может достаться либо сыну чиновника, либо чужому ребёнку, а взамен обещают финансирование для нового корпуса, он делает выбор. Правильный для всех. Кроме одного человека — его собственного сына.Роман «Протокол» — это история о цене выбора, которую платят не сразу. О вине, которая не проходит. О зеркальном человеке, который когда-то сделал наоборот, и теперь моет полы в той же больнице. О жене, которая не умеет простить. О мальчике, который просит мороженое ночью.Здесь нет злодеев. Здесь есть люди, которые выбирают — и живут с этим. Каждый день. Каждую минуту. И не знают, правильно ли.

© Татун А., 2026
© Автор, 2026

Александр Татун
ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ

Глава 1. Совещание

Андрей Петрович Соколов не любил утро. Не из-за раннего подъёма — он вставал в пять сорок всю жизнь, с тех пор как в двадцать три года впервые вошёл в реанимацию и понял, что здесь время течёт иначе. Он не любил утро за то, что оно всегда начиналось одинаково: с тишины в квартире, где Лена уже не спала рядом, с холодного кофе, который он варил себе сам, с проверки телефона — не звонили ли из отделения.

В это утро не звонили. Он оделся в темно-серый костюм, который Лена называла «костюм для суда», хотя он никогда не был в суде. Просто привычка: пиджак, рубашка без галстука, часы на левой руке. Часы были старше его — отцовские, с потёртым ремешком. Он их не чинил. Ремешок держался на честном слове, но Андрей знал: если заменить, часы перестанут быть отцовскими.

Он посмотрел в зеркало в коридоре. Сорок четыре года. Лицо, которое когда-то было мягким, теперь казалось вырезанным из дерева: глубокие складки у рта, тяжёлые веки, седина на висках — не благородная, а какая-то усталая. Глаза серые, внимательные, привыкшие смотреть на людей, которые умирают, и не отводить взгляд. Ростом он был чуть выше среднего, сутулился — не от возраста, а от привычки наклоняться над кроватями. Руки хирурга: длинные пальцы, коротко стриженные ногти, на левом безымянном — обручальное кольцо, которое он никогда не снимал, даже в операционной.

Дверь в спальню была закрыта. Лена спала там. Или не спала. Он не проверял.

На кухне стоял рисунок. Митя рисовал вчера вечером: солнце, дом, два человечка — большой и маленький. Третий человечек был нарисован в стороне, меньше остальных, без лица. Андрей не спросил, кто это. Он знал, что Митя рисует не то, что видит, а то, что чувствует. И чувствует он, что отец — в стороне, без лица.

Андрей взял рисунок. Посмотрел. Положил обратно. Налил кофе. Выпил стоя, у окна. За окном дворник подметал листья, и это было единственное движение в мире, которое не требовало от него решения.

В отделении реанимации пахло хлоркой и кофе. Запах хлорки он не замечал уже двадцать лет. Кофе варила Настя — медсестра, которая работала с ним десять лет и знала его лучше, чем Лена. Настя была маленькой, быстрой, с короткой стрижкой и глазами, которые всегда смотрели чуть насмешливо, будто она знала про всех что-то, чего не знали они сами. Она поставила перед ним чашку, не спрашивая.

— Ковалёв тебя ждёт, — сказала она. — С самого утра. Злой.

Андрей кивнул. Отпил кофе. Кофе был крепкий, без сахара — как он любил.

— Андрей Петрович, — Настя помолчала. — Там мальчик новый. В шестой палате. Восемь лет. Опухоль ствола. Выживет или нет — не знаю. Но аппарат ему нужен. Или не выживет.

Андрей посмотрел на неё. Она не отводила взгляда.

— Я знаю, — сказал он.

— А Ковалёв знает?

— Он всегда знает.

Настя хотела что-то сказать, но передумала. Взяла чашку, вымыла, поставила на сушку. Андрей смотрел на её руки — маленькие, быстрые, с обрезанными ногтями. Руки, которые держали детей, когда те умирали. Он знал эти руки двадцать лет. И знал, что она сейчас думает: «Ты справишься. Ты всегда справляешься». И знал, что она ошибается.

Кабинет Ковалёва был на третьем этаже, в конце коридора. Андрей шёл мимо палат, мимо поста, мимо людей в белых халатах, которые здоровались с ним и отводили взгляд. Он знал этот взгляд. Так смотрят на человека, от которого зависит что-то важное, но который ещё не сказал «да».

Ковалёв сидел за столом. Ему было пятьдесят восемь, но выглядел он старше: грузный, с одышкой, с лицом, которое когда-то было красивым, а теперь казалось обрюзгшим. Он носил очки в тяжёлой оправе, которые постоянно протирал — не потому, что они были грязными, а потому что не знал, куда деть руки. На столе стояла фотография: женщина в саду, смеётся. Жена. Ирина. Андрей знал её в лицо, но никогда не разговаривал.

— Садись, — сказал Ковалёв, не поднимая глаз от бумаг.

Андрей сел. Стул был низкий, неудобный — Ковалёв специально держал такой, чтобы посетители чувствовали себя неуютно. Андрей знал это. И всё равно садился.

— Ты знаешь, зачем я тебя позвал.

— Догадываюсь.

Ковалёв поднял глаза. Они были усталые, красные — он тоже не спал.

— Аппарат один, — сказал он. — Ты это знаешь. В шестой палате — мальчик. Восемь лет. Опухоль ствола. Без аппарата — три дня, максимум пять. С аппаратом — шанс есть. Небольшой, но есть.

Андрей молчал.

— И есть второй ребёнок, — продолжил Ковалёв. — Сын Логинова. Виктора Андреевича. Ты знаешь, кто это.

— Знаю.

— Он выделяет деньги на корпус. На новый корпус. Ты знаешь, сколько детей мы сможем лечить, если он будет построен. Ты знаешь, сколько детей мы теряем сейчас, потому что у нас нет мест, нет оборудования, нет аппаратов. Ты это знаешь лучше меня.

Андрей смотрел на фотографию Ирины. Она смеялась. В саду. Солнце.

— Если аппарат получит сын Логинова — корпус будет, — сказал Ковалёв. — Если аппарат получит мальчик из шестой палаты — корпуса не будет. Логинов не даст денег. Он не злодей. Он отец. Он хочет, чтобы его сын жил. И он имеет на это право.

— А мальчик из шестой?

— У мальчика из шестой нет отца с деньгами. У него есть мать. Она работает в столовой. Она не может построить корпус.

Ковалёв снял очки. Протёр их. Надел обратно. Это был его способ помолчать.

— Я не говорю тебе, что делать, — сказал он. — Я говорю: решай. До пятницы. В пятницу я должен дать ответ Логинову. И ответ министерству. И ответ матери из шестой палаты. Я не могу тянуть.

Андрей встал.

— Я понял.

— Ты не понял, — сказал Ковалёв. — Ты думаешь, что я даю тебе выбор. Я не даю. Я даю тебе ответственность. Это разные вещи.

Андрей вышел. В коридоре стоял человек со шваброй. Худой, сутулый, в синем халате санитара. Он мыл пол — медленно, тщательно, будто это было самое важное дело в мире. Когда Андрей проходил мимо, он поднял голову.

— Здравствуйте, Андрей Петрович, — сказал он.

Андрей кивнул. Не остановился. Не узнал. Пошёл дальше.

В шестой палате лежал мальчик. Восемь лет. Худой, бледный, с закрытыми глазами. Рядом сидела женщина — его мать. Она не плакала. Она смотрела на сына и держала его за руку. У неё были красные глаза и сухие губы. Она работала в столовой — Андрей знал это из карты. Звали её Нина. Тридцать шесть лет. Одна.

Он не вошёл. Постоял у стекла. Посмотрел. Пошёл дальше.

В реанимации его ждала Настя.

— Ну что? — спросила она.

— Ничего, — сказал он.

— Андрей Петрович.

— Что?

— Вы же знаете, что выберете.

Он посмотрел на неё. Она не отводила взгляда. Она знала его десять лет. Она видела, как он подписывал протоколы, которые спасали сотни. И она знала, что он подпишет ещё один.

— Я знаю, — сказал он. — Это хуже всего.

Она отвернулась. Пошла к посту. Он остался стоять в коридоре. Смотрел на дверь шестой палаты. Думал о Мите. О рисунке на кухне. О человечке без лица.

Домой он вернулся в девять. Митя уже спал. Лена сидела на кухне с чашкой чая. Она не смотрела на него. Смотрела в окно. За окном было темно.

— Ты решил? — спросила она.

— Почти.

— Почти — это да или нет?

Он сел напротив. Посмотрел на неё. Лена была красивой — не той красотой, которую замечают сразу, а той, которую видишь, когда долго смотришь. Тёмные волосы, собранные в хвост, бледная кожа, глаза — серо-зелёные, усталые. Она работала педиатром в поликлинике. Она уставала так же, как он. Но она не молчала.

— Я выберу правильно, — сказал он.

— Для кого?

— Для всех.

— А для Мити?

Он молчал. Она тоже. Потом она встала. Поставила чашку в раковину. Вышла из кухни. Дверь в спальню закрылась.

Андрей остался сидеть. На столе лежал рисунок. Солнце, дом, два человечка. Третий — без лица. Он взял рисунок. Посмотрел. Положил обратно. Выключил свет. Пошёл в кабинет — там был диван. Он спал на нём уже неделю.

Утром он подписал протокол.

Это было в пятницу, в девять утра, в кабинете Ковалёва. Аппарат — сыну Логинова. Мальчик из шестой палаты — в паллиатив. Ковалёв пожал руку. Сказал: «Ты сделал больше, чем любой из нас». Андрей кивнул. Вышел.

В коридоре стоял человек со шваброй. Он не мыл пол. Он стоял и смотрел на Андрея. Андрей остановился.

— Вы меня не помните, — сказал человек. — Я Гринберг. Виктор. Я тут работал. Пять лет назад.

Андрей посмотрел на него. Худое лицо, глубокие морщины, глаза — умные, усталые. Он действительно не помнил.

— Помню, — сказал он.

— Нет, — сказал Виктор. — Не помните. Но это ничего. Я просто хотел сказать: я знаю, что вы сделали. И я знаю, почему.

Андрей молчал.

— Я тоже так делал, — сказал Виктор. — Пять лет назад. Только наоборот.

Он взял швабру. Пошёл дальше по коридору. Андрей смотрел ему вслед. Потом пошёл в паллиатив — к Мите.

Митя спал. Лена стояла у окна. Не оборачивалась. Андрей сел на стул. Взял сына за руку. Рука была маленькая, тёплая. Митя дышал — медленно, с трудом.

Андрей смотрел на его лицо. Думал: «Я сделал правильно». Думал: «Я сделал правильно». Думал: «Я сделал правильно».

И не верил себе.

Глава 2. Фотография

В субботу Андрей проснулся в шесть утра на диване в кабинете. Спина ныла — диван был старый, с продавленной пружиной, которая упиралась в поясницу ровно к третьему часу сна. Он лежал с открытыми глазами и слушал квартиру. Холодильник гудел. В трубах что-то щёлкало. За стеной, у соседей, уже включили телевизор — утренние новости, бодрый голос диктора, который сообщал о чём-то, что Андрея не касалось.

Он сел. Потёр лицо ладонями. Щетина — два дня не брился. В зеркале на двери шкафа отразился человек, которого он не любил рассматривать: серое лицо, мешки под глазами, воротник рубашки помят. Он надел эту рубашку вчера и не снял — заснул в ней, не раздеваясь. От рубашки пахло больницей. Этот запах он уже не различал, но знал, что он есть: хлорка, кофе, чужой пот и что-то ещё, неуловимое, что появляется в местах, где люди умирают.

Кабинет был маленьким — три шага в ширину, четыре в длину. Письменный стол, заваленный бумагами, книжный шкаф, в котором половина полок была занята старыми медицинскими журналами, а половина — папками с выписками. На стене — диплом в рамке, фотография выпуска ординатуры и календарь, который он не переворачивал с прошлого месяца. На подоконнике — кружка с остывшим чаем, которую он оставил здесь позавчера. На полу — стопка коробок, которые он всё собирался разобрать.

Он встал. Прошёл на кухню. Митя ещё спал — его комната была в конце коридора, дверь приоткрыта. Андрей заглянул. Митя лежал на боку, поджав колени, одеяло сползло на пол. Рядом на подушке — плюшевый заяц с оторванным ухом. Андрей поднял одеяло, укрыл сына. Митя не проснулся. Дышал — медленно, с присвистом. Этот присвист Андрей слышал каждую ночь последние три года. Он знал его наизусть — как знают звук собственного сердцебиения.

На кухне он включил чайник. Сел за стол. Рисунок лежал там же, где он его оставил, — солнце, дом, два человечка, третий в стороне, без лица. Он взял его в руки. Бумага была мягкой, истрёпанной по краям — Митя рисовал на обрывках, которые приносил из школы. Андрей перевернул лист. На обратной стороне — карандашом, крупно, печатными буквами: «ПАПА». Он положил рисунок обратно. Не потому, что не хотел смотреть. Потому что смотреть было невыносимо.

Лена вышла из спальни в семь. Она была в халате, с распущенными волосами — тёмными, с проседью у висков, которую она не закрашивала. Лицо у неё было помятое со сна, бледное, но всё равно красивое — той спокойной красотой, которая не бросается в глаза, но остаётся, когда все остальные уже ушли. Она остановилась в дверях кухни. Посмотрела на рисунок. На Андрея. Ничего не сказала. Прошла к чайнику.

— Ты не спал, — сказала она. Не вопрос.

— Спал. Плохо.

Она налила себе чай. Села напротив. Между ними был стол — деревянный, с царапинами, которые Митя оставил ножом два года назад, когда резал хлеб и не удержал нож. Лена тогда не рассердилась. Сказала: «Пусть останется. Будет память».

— Ты подписал вчера, — сказала она.

— Подписал.

— Ковалёв доволен?

— Ковалёв жмёт руку.

Она усмехнулась — коротко, без радости. Отпила чай. Поставила чашку. Посмотрела на него — прямо, без отвода.

— Я не буду с тобой ссориться, — сказала она. — Я устала. Я просто хочу знать: ты понимаешь, что сделал?

— Понимаю.

— Нет. Ты понимаешь, что ты сделал **со мной**?

Он молчал. Она кивнула, будто он ответил.

— Я тоже так думала, — сказала она. — Что ты выберешь корпус. Что ты сделаешь правильно. Я знала это ещё до того, как ты подписал. И я знала, что не смогу этого забыть. Не потому, что ты плохой. Потому что ты **хороший**. Ты всегда поступаешь правильно. И это самое страшное.

Она встала. Поставила чашку в раковину. Вышла. Через минуту из спальни послышался звук воды — она пошла в душ. Андрей остался сидеть. Смотрел на рисунок. На слово «ПАПА» на обороте. Думал: «Она права. Я всегда поступаю правильно. И это самое страшное».

Днём он разбирал коробки в кабинете. Не потому, что хотел, — потому что не мог сидеть без дела. В коробках были старые бумаги: выписки, справки, письма, которые он не выбрасывал, но и не читал. Он вытаскивал папки, просматривал, складывал в стопку «выбросить». На третьей коробке рука остановилась.

На дне лежала фотография. Чёрно-белая, помятая, с загнутым углом. На ней — мужчина в рубашке с коротким рукавом, сидит на скамейке в парке. Худой, с длинным лицом, с усами — не модными, а просто небритыми. Глаза светлые, спокойные. Он смотрит в объектив с лёгкой улыбкой — не для камеры, а просто так, потому что ему хорошо в эту минуту.

Пётр Соколов. Отец.

Андрей сел на пол. Прислонился спиной к шкафу. Держал фотографию в руках. Смотрел.

Отец умер двадцать четыре года назад. Андрею было двадцать. Он учился на третьем курсе медицинского, жил в общежитии, приезжал домой на выходные. Отец работал инженером на заводе — не начальником, обычным инженером, с окладом, которого хватало на еду и книги. Он был тихим человеком. Не пил. Не кричал. Читал по вечерам — газеты, журналы, иногда что-то потолще, вроде «Трёх товарищей» Ремарка, которых перечитывал каждые пять лет. Любил рыбалку, но ездил редко — не было времени. Любил мать. Это было видно по тому, как он смотрел на неё, когда она не видела: спокойно, будто она — единственное, что имеет значение.

Он заболел осенью. Рак — поджелудочная, поздняя стадия. Врачи сказали: операция, потом химия, потом — как пойдёт. Он лежал в городской больнице, в отделении, где не было ни аппаратов, ни хороших лекарств. Андрей приезжал каждый день — после лекций, на последнем автобусе, обратно — на первом. Он сидел у кровати, держал отца за руку, читал ему вслух. Отец слушал. Иногда засыпал. Иногда говорил: «Не надо, Андрюша. Иди учись. Я справлюсь».

В ту ночь, когда отцу стало совсем плохо, Андрей был на дежурстве в институте. Ему позвонили из больницы — в два часа ночи. Он приехал через сорок минут. Отца уже перевели в коридор — в отделении не было мест, а аппарат искусственного дыхания был один, и его отдали другому пациенту. Мужчине, который поступил раньше. У которого была семья, дети, работа. Который «имел шанс». Отцу шанс не дали. Он умер в коридоре, на каталке, под тусклой лампой. Один.

Врач, который принимал решение, был женщиной. Пожилой, усталой, с добрым лицом. Она сказала Андрею: «Мальчик, я понимаю. Но у нас один аппарат. Я не могла иначе. Ты же будущий врач — ты понимаешь». Андрей понимал. Он всё понимал. И именно поэтому он тогда, в коридоре, глядя на отца, который уже не дышал, сказал себе: «Я никогда не буду решать за людей. Я никогда не буду выбирать, кто живёт, а кто нет».

Он стал врачом. И стал выбирать.

Он просидел на полу больше часа. Потом встал. Положил фотографию в карман — не в коробку, не в папку. В карман пиджака. Снял с левой руки часы. Отцовские, с потёртым

ремешком, которые он носил двадцать лет и не чинил. Посмотрел на циферблат. Стрелки стояли — он забыл их завести вчера. Или позавчера. Он не помнил.

Он завёл часы. Надел обратно. Пошёл в ванную, побрился. Надел свежую рубашку. Сказал Лене, что едет в больницу. Она не ответила. Сидела в комнате Мити, читала ему книжку — голос был ровный, спокойный, будто ничего не случилось. Андрей постоял в дверях. Митя поднял голову, посмотрел на него. Ничего не сказал. Опустил голову обратно.

В паллиативе было тихо. Здесь не было аппаратов, не было писков, не было суеты. Здесь были кровати, тумбочки, окна с видом на стену соседнего корпуса. И люди, которые ждали. Андрей шёл по коридору, и ему казалось, что стены смотрят на него. Он знал этот коридор — бывал здесь раньше, но всегда проходил мимо, к другим отделениям. Теперь здесь лежал его сын.

Митя был в четвёртой палате. Лежал на спине, с открытыми глазами. Увидел отца — улыбнулся. Не той улыбкой, которая была раньше, когда он бегал по квартире и кричал «Пап, смотри!», а другой — тихой, будто он уже понимал, что улыбаться нужно осторожно, потому что силы не бесконечны.

— Привет, — сказал Андрей. Сел на стул. Взял его за руку.

— Привет, — сказал Митя. Голос был слабый, но ясный. — Ты вчера не пришёл.

— Я пришёл. Ты спал.

— Я не спал. Я лежал и думал.

— О чём?

Митя помолчал. Посмотрел в потолок.

— О том мальчике, — сказал он. — Которому отдали аппарат.

Андрей не ответил. Митя повернул голову. Посмотрел на него — серьёзно, без детской наивности, которая уже ушла.

— Он жив?

— Жив.

— А я?

Андрей сжал его руку. Митя не отвёл взгляда.

— Ты тоже жив, — сказал Андрей.

— Нет, — сказал Митя. — Я не жив. Я жду.

Он сказал это спокойно. Без обиды. Как факт. Андрей почувствовал, как что-то внутри него сжалось — не сердце, а что-то глубже, что-то, что он не знал, как назвать.

— Митя.

— Что?

— Я тебя люблю.

Митя кивнул. Закрыл глаза.

— Я знаю, — сказал он. — Я тоже тебя люблю. Но ты всё равно выбрал не меня.

Он заснул — или сделал вид, что заснул. Андрей сидел рядом. Держал его за руку. Смотрел на его лицо — худое, бледное, с тёмными кругами под глазами. Митя был похож на мать — те же глаза, тот же нос. И на отца — то же упрямство в подбородке. И на деда Петра — то же спокойствие, которое появляется у людей, которые уже всё поняли.

В коридоре он увидел женщину. Она сидела на стуле у пятой палаты. Худая, в сером свитере, с руками, которые она держала на коленях. Он узнал её сразу — мать мальчика из шестой палаты. Нина. Тридцать шесть лет. Работала в столовой.

Она подняла голову. Посмотрела на него. Не с ненавистью. Без выражения. Как смотрят на человека, которого знают в лицо, но не знают, как к нему обращаться.

— Здравствуйте, — сказала она.

— Здравствуйте.

Пауза. Она посмотрела на дверь четвёртой палаты.

— Ваш сын? — спросила она.

— Мой.

— Красивый мальчик.

— Спасибо.

Она опустила глаза. Потом снова подняла.

— Мой тоже здесь, — сказала она. — В пятой. Перевели вчера.

Андрей кивнул. Он знал. Он подписал это вчера — или позавчера, в кабинете Ковалёва. Бумага была сухой, ручка тяжёлой. Он подписал, не читая. Он всегда не читал, когда знал, что подписывает.

— Ему сделали операцию? — спросил он.

— Нет, — сказала она. — Сказали, что уже поздно. Сказали, что будут поддерживать. Сколько смогут.

Она сказала это ровно. Без слёз. Слёзы, видимо, кончились раньше — в шестой палате, или в коридоре, или дома, ночью, когда она осталась одна.

— Вы врач? — спросила она.

— Врач.

— Главный?

— Заведующий отделением.

Она кивнула. Посмотрела на него внимательно — так, будто пыталась что-то понять.

— Вы знаете, почему ему не дали аппарат?

Андрей молчал. Она ждала. В коридоре было тихо — только где-то далеко капала вода из крана.

— Знаю, — сказал он.

— Почему?

— Потому что аппарат был один.

— И его отдали другому.

— Да.

Она посмотрела на него. Долго. Потом отвела взгляд.

— Я так и думала, — сказала она. — Мне говорили. Я не верила. Думала — не может быть, чтобы вот так, просто, взяли и решили. Кто-то же должен был подумать. Кто-то же должен был сказать: подождите, это же ребёнок.

Она замолчала. Андрей стоял. Не уходил. Не мог уйти.

— Я не виню вас, — сказала она вдруг. — Я знаю, что вы не один решали. Я знаю, что так надо. Мне объясняли. Про корпус, про деньги, про то, что если бы не так — не было бы вообще ничего. Я всё понимаю.

Она подняла голову. Посмотрела на него.

— Но я не могу это принять, — сказала она. — Понимаете? Я всё понимаю. И не могу.

Андрей кивнул.

— Я знаю, — сказал он.

Она отвернулась. Посмотрела на дверь пятой палаты. Больше не говорила. Андрей постоял ещё минуту. Потом пошёл к выходу. В спину ему было тихо.

Дома он не мог сидеть. Ходил по квартире — из кухни в кабинет, из кабинета в коридор. Лена ушла с Митей в больницу — она теперь оставалась там до вечера, и Андрей знал, что она делает это не только ради Мити, но и чтобы не быть с ним в одной квартире. Он не обижался. Он понимал. Понимание было его профессией — и его проклятием.

В восемь вечера позвонила мать. Нина Петровна. Она жила в другом городе, в трёх часах на автобусе, и звонила раз в неделю — всегда в одно и то же время, всегда с одним и тем же вопросом: «Как вы там?»

— Как вы там? — спросила она.

— Нормально, мам.

— Митя?

— Лежит.

— В больнице?

— В больнице.

Пауза. Она знала, что он не договаривает. Она всегда знала. Но не спрашивала — ждала, когда он скажет сам. Он не говорил. Уже три года.

— Ты бы приехал, — сказала она. — Я пирог испекла. С капустой.

— Приеду, мам. Как только.

— Ты всегда так говоришь.

— Я знаю.

Она вздохнула. Не с укором — просто вздохнула, как человек, который устал ждать.

— Отец твой тоже так говорил, — сказала она. — «Как только». А потом — всё. Не приехал.

Андрей молчал. Она тоже. Потом сказала:

— Ладно. Звони. Не пропадай.

— Позвоню.

Он положил трубку. Постоял в коридоре. Посмотрел на фотографию отца — она лежала в кармане пиджака, но он знал, что она там. Мог достать. Не достал.

Ночью он сидел на кухне. Рисунок лежал перед ним. Солнце, дом, два человечка, третий — без лица. Он взял карандаш. Долго смотрел на бумагу. Потом нарисовал третьему человечку лицо. Простое: две точки вместо глаз, чёрточка вместо рта. Получилось непохоже. Но лицо.

Он положил карандаш. Посмотрел на рисунок. Потом взял ластик и стёр лицо. Осталось пустое место — как было.

Он встал. Выключил свет. Пошёл в кабинет. Лёг на диван. Пружина упиралась в поясницу. Он лежал с открытыми глазами и слушал, как в трубах щёлкает вода. Думал: «Я сделал правильно». Думал: «Митя сказал: ты выбрал не меня». Думал: «Он прав».

Он закрыл глаза. Не спал.

Глава 3. Трещина

Ночью он не спал. Лежал на диване, смотрел в потолок, слушал, как за окном шумит дождь — мелкий, осенний, без конца и начала. Думал о Нине. О её руках на коленях. О том, как она сказала: «Я всё понимаю. И не могу». Думал о Мите. О его голосе: «Ты выбрал не меня». Думал о Лене. О её спине в дверях — прямой, неподвижной, как стена.

В два часа ночи он встал. Не потому, что решил, — потому что тело само поднялось. Надел куртку, ботинки. Взял ключи. Вышел.

На улице было холодно. Дождь шёл стеной — мелкой, плотной, которая не стучала по крышам, а висела в воздухе, как взвесь. Фонари расплывались в жёлтые пятна. Андрей сел в машину — старую «Ладу», которую купил пять лет назад, когда Митя пошёл в школу. Машина завелась с третьего раза. Дворники скрипели по стеклу.

Он ехал медленно, без цели. Сначала думал — в больницу. Потом — нет, не в больницу. Потом — куда угодно. Проехал мимо своего отделения, не остановился. Проехал мимо круглосуточного магазина, где светилась витрина. Проехал мимо парка, где они гуляли с Митей — давно, когда Митя ещё мог ходить.

В итоге приехал в больницу. Не потому, что хотел. Потому что больше некуда было.

Ночью больница выглядела иначе. Днём она была шумной, живой, полной людей, которые спешили, спорили, плакали, смеялись. Ночью она становилась другой: тихой, глубокой, как вода в колодце. Коридоры были пусты. Свет — не весь, только дежурные лампы через каждые три метра. Тени ложились длинно, тянулись по стенам, будто кто-то вытягивал их из углов.

Андрей шёл по коридору, и его шаги звучали громко. Слишком громко. Он слышал, как скрипят ботинки, как шуршит куртка. Он не должен был здесь быть. Он знал это. Но ноги несли.

В реанимации горел свет. За стеклом дежурила Настя — сидела за столом, писала что-то в журнале. Увидела его, подняла голову. Не удивилась.

— Андрей Петрович? — сказала она шёпотом. — Что вы здесь?

— Не спится.

Она посмотрела на него внимательно. Настя была маленькой, с короткой стрижкой и острыми глазами, которые видели всё. Она работала с ним десять лет — и знала его лучше, чем он сам. Знала, что он не пьёт, не курит, не кричит. Знала, что он молчит, когда ему плохо. И что молчание — это его способ кричать.

— Он спит, — сказала она. — Мальчик Логинова. Стабильно. Аппарат работает.

Андрей кивнул. Не спросил, как Митя. Не спросил, как мальчик из шестой. Он знал ответы. И не хотел их слышать.

— Вы не должны здесь быть, — сказала Настя. — Идите домой.

— Я пойду.

Он не пошёл. Стоял у стекла. Смотрел на мальчика. Тот лежал на спине, маленький, под простынёй, с трубками, которые шли из него в аппарат. Аппарат гудел — ровно, спокойно, как сердце. Мальчик дышал. Не сам — аппарат дышал за него.

Андрей смотрел. И думал: «Он жив. Он жив благодаря мне». Думал: «Митя умер бы благодаря мне». Думал: «Митя не умер. Митя в паллиативе». Думал: «Это не лучше».

Он отвёл взгляд. Пошёл по коридору дальше. Настя смотрела ему вслед. Ничего не сказала.

В паллиативе было темно. Дежурная медсестра спала на посту — сидела в кресле, запрокинув голову, с открытым ртом. Андрей прошёл мимо. Не разбудил. В четвёртой палате горел ночник — тусклый, жёлтый, на тумбочке. Митя спал. Лена сидела рядом — в кресле, с книгой на коленях. Не читала. Смотрела на сына.

Андрей остановился в дверях. Не вошёл. Лена подняла голову. Увидела его. Лицо у неё было усталое — серое, с тенями под глазами, с заострившимися скулами. Она была красивой — той красотой, которая не бросается в глаза, но остаётся, когда всё остальное уходит. Тёмные волосы, собранные в хвост, бледная кожа, серо-зелёные глаза. Она смотрела на него. Долго. Потом отвела взгляд.

— Ты не спишь, — сказала она.

— Ты тоже.

Она не ответила. Посмотрела на Митю. Поправила одеяло. Митя не проснулся. Дышал — медленно, с присвистом.

— Иди домой, — сказала она. — Я останусь.

— Лена.

— Что?

Он не знал, что сказать. Стоял в дверях, смотрел на неё, на сына, на ночник. Думал: «Я хочу сказать, что люблю тебя». Думал: «Я хочу сказать, что мне страшно». Думал: «Я хочу сказать, что не знаю, правильно ли я сделал». Но ничего не сказал. Потому что знал: она не поверит. Или поверит — и это будет хуже.

— Иди, — сказала она. — Пожалуйста.

Он ушёл.

В коридоре у окна стоял человек. Худой, сутулый, в синем халате санитара. Виктор Гринберг. Он не мыл пол — стоял и смотрел в окно. За окном было темно. Дождь шёл.

Андрей остановился. Виктор повернул голову. У него было длинное лицо, глубокие морщины — не от возраста, а от чего-то другого. Глаза умные, усталые. Светлые. Он смотрел на Андрея без удивления, будто ждал его.

— Не спится? — спросил Виктор.

— Не спится.

Виктор кивнул. Отвернулся к окну. Андрей подошёл. Встал рядом. Они стояли молча — два человека, которые не знали друг друга, но знали одно и то же.

— Я работал здесь, — сказал Виктор. — Пять лет назад. Заведовал отделением. Соседним с вашим.

— Я помню, — сказал Андрей. — Вы говорили.

— Говорил. Но вы не помните.

Андрей не ответил. Он действительно не помнил. Пять лет назад у него было много заведующих, много отделений, много лиц. Он не запоминал.

— Я ушёл, — сказал Виктор. — Не сам. Меня ушли. Вы знаете, почему?

— Нет.

— Я забрал аппарат. Для своего сына. Он умирал. Я забрал аппарат, который должен был достаться другому ребёнку. Мой сын выжил. Тот ребёнок — нет.

Он сказал это ровно. Без пафоса. Как факт. Андрей смотрел на него.

— И вы жалеете? — спросил он.

Виктор помолчал. Посмотрел в окно. Дождь стучал по стеклу.

— Я бы снова так сделал, — сказал он. — И это самое страшное.

Андрей молчал. Виктор повернулся к нему.

— Вы думаете, я сплю? — спросил он. — Вы думаете, я живу с этим спокойно? Я пять лет не сплю. Я мою полы в той больнице, где работал. Я вижу каждый день людей, которые меня помнят. Я вижу сына — он жив, здоров, взрослый. Он не звонит. Он не знает, что я сделал. Но он чувствует. Он вырос с отцом, который молчит. И теперь он тоже молчит.

Он замолчал. Андрей смотрел на его руки — длинные, худые, с вздутыми венами. Руки, которые когда-то держали скальпель. Теперь держат швабру.

— Вы думаете, я вам это рассказываю, чтобы вас утешить? — спросил Виктор. — Нет. Я вам это рассказываю, чтобы вы знали: вы не один. И это не помогает.

Он взял швабру. Пошёл по коридору. Андрей смотрел ему вслед. Потом пошёл к выходу. На улице дождь усилился. Он сел в машину. Не завёл. Сидел. Смотрел на стекло. Думал: «Он бы снова так сделал». Думал: «Я бы тоже». Думал: «Это самое страшное».

Дома он не мог сидеть. Ходил по квартире — из кухни в кабинет, из кабинета в коридор. Включил свет везде, во всех комнатах. Не помогло. Тени остались — в углах, за шкафом, под столом. Он сел на кухне. Рисунок лежал на столе. Солнце, дом, два человечка, третий — без лица. Он взял его. Посмотрел. Положил обратно.

Вспомнил: Митя рисовал его в тот вечер, когда Андрей вернулся из больницы — усталый, злой, не спавший. Митя подбежал, показал рисунок. «Пап, смотри!» Андрей посмотрел. Сказал: «Красиво». Пошёл в кабинет. Закрыл дверь. Митя остался в коридоре с рисунком в руках. Лена потом сказала: «Он ждал тебя весь вечер». Андрей ответил: «Я работал». Она не стала спорить.

Он сидел на кухне. Смотрел на рисунок. Думал: «Он ждал меня весь вечер». Думал: «Я работал». Думал: «Это не оправдание».

Контрафактический фрагмент №1

Если бы он тогда вышел из кабинета и сел в машину — в ту пятницу, в девять утра, с подписанным протоколом в кармане, — и поехал не в паллиатив, а домой, к Лене, к Мите, который ещё был жив, ещё дышал, ещё мог улыбаться, — если бы он вошёл в квартиру, снял ботинки, прошёл на кухню, сел напротив Лены и сказал: «Я не подписал», — что было бы?

Лена подняла бы голову. Посмотрела бы на него. Может быть, заплакала бы. Может быть, нет. Митя вышел бы из комнаты — худой, бледный, с плюшевым зайцем в руке. Спросил бы: «Пап, ты дома?» Андрей сказал бы: «Дома». И это было бы правдой.

Аппарат достался бы мальчику из шестой палаты. Нине. Её сыну. Корпус не построили бы. Логинов забрал бы деньги. Ковалёв уволил бы Андрея. Или нет. Или перевёл бы в другое отделение. Митя умер бы через месяц. Или через два. Но умер бы — с отцом рядом. Лена не стояла бы у окна. Она сидела бы на стуле. Держала бы его за руку. И Андрей держал бы тоже.

А мальчик из шестой палаты — он выжил бы? Или умер бы через неделю, потому что аппарат не спасает от опухоли ствола? Андрей не знал. Никто не знал. Это была бы другая жизнь — с другой ценой. Может быть, лучше. Может быть, хуже. Может быть, такой же.

Он тряхнул головой. Фрагмент рассыпался. Он снова сидел на кухне. Рисунок лежал на столе. Третий человечек — без лица.

Утром пришла Лена. Он услышал, как открывается дверь, как она снимает ботинки, как идёт на кухню. Он сидел за столом. Не спал. Она остановилась в дверях. Посмотрела на него. На рисунок. На чашку с остывшим чаем.

— Ты не спал, — сказала она.

— Нет.

Она прошла мимо. Налила себе воды. Выпила стоя. Поставила стакан.

— Митя спрашивал, где ты, — сказала она.

— Что ты сказала?

— Что ты работаешь.

Он кивнул. Она посмотрела на него — долго, внимательно, будто видела впервые.

— Ты изменился, — сказала она. — За эти два дня. Ты стал другим.

— Я не изменился.

— Изменился. Ты раньше молчал, но в тебе была сила. Теперь ты молчишь, и в тебе — пустота. Я не знаю, кто ты теперь. Я знаю, кем ты был.

Он хотел сказать: «Я сделал правильно». Но не сказал. Потому что впервые за два дня понял: это не имеет значения. Правильно или нет — он всё равно сидит на кухне в четыре утра, смотрит на рисунок сына и не может вспомнить, когда последний раз спал спокойно.

— Я пойду, — сказала Лена. — Мне на смену.

Она ушла. Дверь закрылась. Андрей остался сидеть. Смотрел на рисунок. Думал: «Я не знаю, кто я теперь». Думал: «Я знаю, кем я был». Думал: «Это был человек, который верил, что правильно — это просто».

Он встал. Пошёл в кабинет. Лёг на диван. Закрыл глаза. Не спал. Слушал, как в трубах щёлкает вода. Думал: «Виктор сказал: я бы снова так сделал». Думал: «Я бы тоже». Думал: «И это самое страшное».

Глава 4. Ковалёв. Ночь

В пятницу, после того как Андрей вышел из кабинета с подписанным протоколом, Ковалёв ещё долго сидел один. Дверь закрылась. Шаги стихли. Он снял очки, положил их на стол, потёр переносицу — там остались красные вмятины от оправы. За окном шёл дождь. Мелкий, нудный, осенний. Такой же, как двадцать лет назад.

Он достал из верхнего ящика стола фотографию. Не ту, что стояла на виду — жена в саду, смеётся. Другую. Маленькую, помятую, с загнутым углом. На ней — мальчик лет десяти. Худой, в футболке с надписью, которую уже не разобрать. Стоит на фоне реки, щурится от солнца, улыбается — криво, одним углом рта, как умеют улыбаться только дети, которых заставили позировать.

Серёжа. Сын. Умер двадцать лет назад. Ему было одиннадцать.

Ковалёв смотрел на фотографию. Долго. Потом убрал её обратно в ящик. Закрыл. Надел очки. Протёр их — хотя они были чистые. Это была привычка, не жест.

Он был грузным — не от обжорства, а от возраста, от сидячей работы, от одышки, которая появилась три года назад и которую он игнорировал. Лицо у него было тяжёлое, обрюзгшее, но когда-то оно было красивым: широкие скулы, прямой нос, густые брови. Теперь брови поседели и торчали в разные стороны, как старая щётка. Он стригся коротко, но волосы на висках всё равно выбивались, и он их не замечал. Одевался в костюмы — всегда тёмные, всегда с галстуком, — потому что считал, что главврач должен выглядеть как главврач, даже если внутри него уже давно ничего не главное.

Он налил себе воды из графина. Выпил. Посмотрел на часы — семь вечера. Домой ехать не хотелось. Дома была Ирина. Ирина, которая молчала. Не упрекала — просто молчала. И это молчание было тяжелее любых слов.

Он просидел в кабинете ещё час. Потом встал. Надел пальто. Взял зонт. Вышел.

Дорога домой занимала двадцать минут. Он ехал медленно, как всегда. За окном плыли дома, витрины, люди под зонтами. Он не смотрел на них. Думал о мальчике из шестой палаты. О его матери — Нине. О том, как она сидела на стуле в коридоре, с руками на коленях, и смотрела на дверь. Он знал этот взгляд. Видел его двадцать лет назад — в зеркале.

Тогда, двадцать лет назад, он был заведующим отделением — молодым, амбициозным, с будущим. Серёжа заболел внезапно: менингит, молниеносная форма. Его привезли в ту же больницу, где работал отец. Ковалёв тогда стоял перед выбором: аппарат искусственного дыхания был один. Или его сын — или сын заместителя министра, который поступил в тот же вечер. Заместитель министра звонил, просил, обещал. Ковалёв знал: если он отдаст аппарат своему сыну — его уволят. Или хуже. Если отдаст чужому — его сын умрёт.

Он отдал аппарат чужому. Серёжа умер через сутки. В коридоре. На каталке. Под тусклой лампой. Один.

Заместитель министра потом помог Ковалёву с должностью. Через год он стал главврачом. Через два — получил квартиру. Через пять — машину. Он никогда не просил. Ему просто давали. И он брал. Потому что если не брать — значит, всё было зря. Значит, Серёжа умер напрасно. А он не мог этого допустить. Он должен был найти смысл. Хоть какой-то.

Ирина тогда не сказала ни слова. Она пришла на похороны — бледная, сухая, с прямыми плечами. Стояла у могилы. Не плакала. После похорон они вернулись домой. Она легла спать. Он сидел на кухне до утра. Утром она встала, сварила кофе, налила ему чашку. Сказала: «Пей». И всё. Больше они никогда не говорили о Серёже. Ни разу за двадцать лет.

Дома было тихо. Ирина сидела в гостиной с книгой. Она была худой, с прямыми седыми волосами до плеч, с лицом, которое когда-то было миловидным, а теперь стало сухим, как старая бумага. Морщины у неё были глубокие — не от возраста, а от чего-то другого. Она не смотрела на него, когда он вошёл. Только перевернула страницу.

— Ты поздно, — сказала она.

— Работы много.

Она кивнула. Не спросила, что за работы. Знала, что он не ответит. Он снял пальто, повесил в шкаф. Прошёл на кухню. Налил себе чаю. Сел за стол. Ирина осталась в гостиной. Между ними была стена — не настоящая, а та, которую они построили сами, кирпич за кирпичом, за двадцать лет молчания.

Он пил чай. Смотрел в стену. Думал: «Я сделал правильно». Думал: «Серёжа умер. И я до сих пор не знаю, правильно ли». Думал: «Ирина знает. Она всегда знала. И молчит».

Он встал. Пошёл в гостиную. Ирина подняла голову. Посмотрела на него. Глаза у неё были серые, спокойные, как вода в колодце.

— Ирина.

— Что?

Он хотел сказать: «Я сегодня подписал протокол. Мальчик из шестой палаты умрёт. Сын Логинова будет жить. И я не знаю, правильно ли». Но не сказал. Потому что знал: она ответит. Или не ответит. И то и другое будет хуже.

— Ничего, — сказал он. — Просто.

Она кивнула. Опустила голову. Перевернула страницу.

Он вернулся на кухню. Сел. Достал из кармана фотографию. Маленькую, помятую, с загнутым углом. Мальчик на фоне реки. Улыбается — криво, одним углом рта. Ковалёв смотрел на неё. Долго. Потом убрал обратно. Выпил чай. Пошёл в спальню. Лёг. Не спал.

Утром он пришёл в больницу раньше всех. В шесть утра. В отделении было тихо — только дежурная медсестра на посту, сонная, с красными глазами. Она встала, когда он вошёл.

— Виктор Андреевич?

— Сиди, — сказал он. — Я просто пройдусь.

Он прошёл по коридору. Мимо палат. Мимо реанимации. Остановился у шестой палаты. За стеклом — мальчик. Худой, бледный, с закрытыми глазами. Рядом — мать. Нина. Спит в кресле, запрокинув голову. Руки на коленях. Ковалёв смотрел на неё. Долго. Потом пошёл дальше. К паллиативу. В четвёртую палату. Там лежал Митя. Спал. Лена сидела рядом — с книгой на коленях, не читала. Смотрела на сына. Ковалёв не вошёл. Постоял в дверях. Пошёл в кабинет.

Он сел за стол. Достал протокол. Подписанный вчера. Андреем. Ковалёв смотрел на подпись — ровную, аккуратную, как у человека, который никогда не сомневается. Он завидовал этой подписи. Он сам так не мог. Он всегда сомневался. Даже когда решал. Даже когда знал, что решает правильно.

Он положил протокол в папку. Убрал в ящик. Закрыл. Посмотрел на фотографию Ирины — та стояла на столе, на виду. Жена в саду. Смеётся. Он взял её. Посмотрел. Поставил обратно. Потом достал из ящика другую. Маленькую, помятую. Мальчик на фоне реки. Он смотрел на неё долго. Потом убрал. Закрыл ящик. Встал. Пошёл на обход.

В коридоре он встретил Андрея. Тот шёл навстречу — серый, усталый, с тенями под глазами. Они остановились. Между ними было три шага.

— Андрей Петрович, — сказал Ковалёв.

— Виктор Андреевич.

Пауза. Ковалёв смотрел на него. Думал: «Он не спит. Как и я. Как и все мы». Думал: «Он сделал то, что я не смог бы». Думал: «Или смог бы. Двадцать лет назад — смог».

— Ты как? — спросил Ковалёв.

— Нормально.

— Врёшь.

Андрей не ответил. Ковалёв кивнул. Посмотрел в сторону паллиатива.

— Митя?

— Спит.

— Лена?

— У него.

Ковалёв помолчал. Потом сказал:

— Ты сделал правильно. Я знаю, что тебе от этого не легче. Но ты сделал правильно.

Андрей посмотрел на него. Долго. Потом сказал:

— А вы бы так смогли?

Ковалёв не ответил. Стоял. Смотрел на него. Думал: «Я уже сделал. Двадцать лет назад. И до сих пор не знаю, правильно ли». Думал: «Серёжа умер. Заместитель министра жив. И я жив. И это не ответ».

— Я не знаю, — сказал он наконец. — Честно — не знаю.

Андрей кивнул. Пошёл дальше. Ковалёв смотрел ему вслед. Потом пошёл в другую сторону. В кабинет. Сел за стол. Достал фотографию. Мальчик на фоне реки. Улыбается — криво, одним углом рта. Ковалёв смотрел на неё. Долго. Потом убрал. Закрыл ящик. Взял ручку. Начал писать ответ министерству. Буквы получались ровные, аккуратные, как у человека, который никогда не сомневается.

Вечером он вернулся домой. Ирина сидела в гостиной. С книгой. Не читала. Смотрела в окно. За окном шёл дождь.

— Ты сегодня рано, — сказала она.

— Работы меньше.

Она кивнула. Не спросила, что за работы. Он снял пальто. Прошёл на кухню. Налил чаю. Сел. Ирина осталась в гостиной. Между ними была стена. Он пил чай. Смотрел в стену. Думал: «Она знает. Она всегда знала». Думал: «И молчит». Думал: «Это её способ прощать. Или не прощать».

Он встал. Пошёл в гостиную. Ирина подняла голову. Посмотрела на него. Глаза серые, спокойные.

— Ирина.

— Что?

— Ты помнишь Серёжу?

Она не изменилась в лице. Только пальцы на книге сжались чуть сильнее.

— Помню, — сказала она.

— Я сегодня подписал протокол. Мальчик из шестой палаты умрёт. Сын Логинова будет жить. Как тогда. Как с Серёжей.

Она смотрела на него. Долго. Потом закрыла книгу. Положила на колени.

— Я знаю, — сказала она. — Я всегда знала, что ты это сделаешь. Ты не мог иначе.

— Я не знаю, правильно ли.

— Я тоже не знаю, — сказала она. — Но я знаю, что ты не спал двадцать лет. И я не спала. И это — цена.

Она встала. Пошла в спальню. Дверь закрылась. Ковалёв остался стоять в гостиной. Смотрел на закрытую дверь. Думал: «Она знает. Она всегда знала». Думал: «И это цена». Думал: «Серёжа умер. И я до сих пор плачу».

Он вернулся на кухню. Достал фотографию. Мальчик на фоне реки. Смотрел на неё. Долго. Потом убрал. Выпил чай. Пошёл в кабинет. Лёг на диван. Не спал. Слушал, как в трубах щёлкает вода. Думал: «Андрей спросил: вы бы смогли?» Думал: «Я смог. Двадцать лет назад». Думал: «И до сих пор не знаю, правильно ли».

Он закрыл глаза. Не спал.

Глава 5. Варенье

Прошла неделя. Андрей считал дни по сменам — не по календарю. Календарь висел в кабинете, на стене, и он его не переворачивал с прошлого месяца: там всё ещё было сентябрьское фото — лес, река, кто-то на мостках. Он не помнил, кто это. Может, и не смотрел никогда.

Он возвращался к работе так, как возвращаются в холодную воду: медленно, по частям, заставляя себя не думать о том, что под ногами нет дна. Утренний обход. Журналы. Назначения. Он делал всё, что делал двадцать лет, — и всё было другим. Не потому, что изменилось отделение. Изменился он. И люди это чувствовали.

Настя больше не приносила ему кофе. Она ставила чашку на стол — молча, не спрашивая, — но это было уже не то. Раньше она говорила: «Держи, Андрей Петрович. Без сахара, как ты любишь». Теперь просто ставила и уходила. Он не спрашивал почему. Знал.

На четвёртый день он поймал её в ординаторской.

— Настя.

Она обернулась. В руках — папка с картами. Лицо спокойное, глаза — нет. Настя была маленькой, быстрой, с короткой стрижкой и острыми глазами, которые всегда смотрели чуть насмешливо. Теперь они смотрели прямо. Без насмешки.

— Что, Андрей Петрович?

— Ты что-то хочешь сказать?

Она помолчала. Положила папку на стол. Скрестила руки — не вызывающе, а как человек, который решился.

— Вы знаете, что я думаю.

— Не знаю.

— Знаете. Я работаю с вами десять лет. Я видела, как вы подписывали протоколы. Много. Я не всегда соглашалась. Но я понимала. А этот — не поняла.

Она сказала это ровно. Без злости. И это было хуже злости.

— Настя.

— Что?

— Я не мог иначе.

— Могли, — сказала она. — Могли. Просто не захотели.

Она взяла папку. Пошла к двери. Остановилась.

— Я не судья, — сказала она. — Я медсестра. Но я бы так не смогла. И я не знаю, как теперь с вами работать.

Дверь закрылась. Андрей остался стоять. Смотрел на стол. На чашку с остывшим кофе — без сахара, как он любит.

В пятницу пришёл Олег. Андрей не сразу понял, кто это. Мужчина лет сорока семи, широкий, с крупными руками — такими, которые держат не бумаги, а инструмент. Он был в куртке, из тех, что носят рабочие, с потёртыми локтями. Лицо простое, открытое, с обветренной кожей и светлыми глазами, которые смотрели прямо, без хитрости. В руках он держал банку. Стеклянную, с закрученной крышкой. Внутри — что-то тёмно-красное, густое.

Он стоял в коридоре у поста, переминаясь с ноги на ногу. Увидел Андрея — выпрямился.

— Андрей Петрович? Соколов?

— Да.

— Я Олег. Отец Пашки. Мальчика, которому... — он замолчал, подбирая слово. — Которому аппарат.

Андрей кивнул. Он знал. Пашка Логинов. Сын чиновника. Тот, которого он спас. Тот, из-за которого Митя сейчас лежал в паллиативе, а не здесь.

— Я хотел сказать спасибо, — сказал Олег. — Я не умею красиво говорить. Я на заводе работаю. Но я хотел. Жена варенье сварила. Слива. Она сама. Я не приносил ничего, потому что не знал, можно ли. А потом подумал — нельзя не принести.

Он протянул банку. Андрей взял. Стекло было холодным. На крышке — белая этикетка, от руки: «Спасибо».

— Спасибо, — сказал Андрей.

— Это вам спасибо, — сказал Олег. — Вы его спасли. Пашку. Он теперь дома. Ходит. Ест. Смеётся. Врачи говорят — восстановится. Не полностью, но... — он махнул рукой. — Живой.

Андрей смотрел на него. На его руки. На лицо. На глаза, которые светились — не от радости, а от чего-то большего. От благодарности, которая не знает, куда себя деть.

— А ваш сын? — спросил Олег вдруг. — Я слышал... в паллиативе?

— В паллиативе.

— Что с ним?

Андрей помолчал. Потом сказал:

— Опухоль. Ствол. Неоперабельная.

Олег не изменился в лице. Только руки — большие, сильные — сжались в кулаки. Потом разжались.

— Я не знал, — сказал он. — Мне не говорили. Я думал... — он замолчал. — Я думал, аппарат был свободен.

— Не был.

— А...

— Аппарат был один.

Олег стоял. Смотрел на него. Медленно до него доходило. Не всё — часть. Ту часть, которую он мог вынести.

— То есть... — сказал он. — Ваш сын...

— Мой сын ждёт, — сказал Андрей. — Ваш — живёт.

Олег молчал. Долго. Потом опустил голову. Посмотрел на банку в руках Андрея. На этикетку «Спасибо».

— Я не знал, — сказал он тихо. — Простите.

— Не за что прощать.

— Я бы не пришёл. Если бы знал.

— Я знаю.

Олег стоял ещё минуту. Потом кивнул. Повернулся. Пошёл по коридору — тяжёлой походкой, сутулясь. У выхода остановился. Обернулся.

— Андрей Петрович.

— Да.

— Ваш сын... он знает?

— Знает.

Олег кивнул. Вышел. Дверь закрылась. Андрей стоял в коридоре. Держал банку. Смотрел на этикетку. «Спасибо». Буквы были кривые — писала жена Олега, может быть, в спешке, может быть, не умея красиво. Но писала.

Он поставил банку в ординаторской. На полку. Между чайником и коробкой с печеньем. Никто её не трогал. День. Два. Три. Она стояла — тёмное стекло, белая этикетка. Люди проходили мимо. Смотрели. Отводили глаза. На четвёртый день Настя сказала:

— Андрей Петрович, может, уберёте?

— Куда?

— Не знаю. Куда-нибудь.

Он не убрал. Банка стояла.

Митя слабел. Это было видно не сразу — по мелочам. Он стал меньше говорить. Больше спать. Руки — худые, с тонкими пальцами — лежали на одеяле, как чужие. Он всё ещё рисовал, но рисунки изменились: раньше были солнце, дом, человечки. Теперь — просто линии. Горизонтальные. Одна над другой. Как будто он рисовал дорогу, которая никуда не ведёт.

Андрей приходил каждый вечер. Садился на стул. Брал его за руку. Митя не всегда открывал глаза. Иногда говорил:

— Пап.

— Что, сынок?

— Тот мальчик. Которому аппарат. Он жив?

— Жив.

— Хорошо.

Пауза. Митя закрывал глаза. Андрей думал: «Он говорит "хорошо". Он не жалеет. Он не злится». Думал: «Почему он не злится?» Думал: «Я бы злился».

Однажды Митя сказал:

— Пап, а ты бы хотел, чтобы я был на его месте?

Андрей замер. Посмотрел на него. Митя смотрел в потолок. Лицо спокойное. Глаза ясные.

— Нет, — сказал Андрей.

— Почему?

— Потому что я хочу, чтобы ты был на своём месте. Здесь. Со мной.

Митя помолчал. Потом сказал:

— А я не здесь.

— Ты здесь.

— Нет. Я уже там.

Он не уточнил, где «там». Андрей не спросил. Боялся.

В воскресенье пришла Лена. Не в больницу — домой. Андрей был на кухне. Сидел. Смотрел в стену. Она вошла. Сняла пальто. Прошла на кухню. Увидела банку — она стояла на столе, он принёс её из больницы. Взяла. Посмотрела на этикетку. «Спасибо».

— От кого? — спросила она.

— От отца Пашки. Того мальчика.

Лена поставила банку обратно. Села напротив. Посмотрела на него. Долго. Она была усталой — ещё больше, чем раньше. Лицо осунулось, скулы заострились. Но глаза — серо-зелёные, спокойные — смотрели прямо.

— Он не знал, — сказала она.

— Не знал.

— А теперь знает?

— Теперь знает.

Лена кивнула. Помолчала. Потом сказала:

— Я не могу это есть.

— Я тоже.

Они сидели молча. Банка стояла между ними. Тёмное стекло. Белая этикетка. «Спасибо».

— Лена.

— Что?

— Ты меня простишь?

Она посмотрела на него. Долго. Потом встала.

— Я не знаю, — сказала она. — Я не знаю, как это делается. Простить. Я не умею. Я умею жить дальше. Но простить — не умею.

Она ушла в комнату Мити. Закрыла дверь. Андрей остался сидеть. Смотрел на банку. Думал: «Она не умеет». Думал: «Я тоже не умею». Думал: «Может, никто не умеет. Может, это просто слово, которым прикрывают то, что не могут вынести».

Ночью он не спал. Лежал на диване. Смотрел в потолок. Вспоминал Олега — его руки, его лицо, его голос: «Я бы не пришёл, если бы знал». Думал: «Он хороший человек». Думал: «Он не виноват». Думал: «Никто не виноват. И это хуже всего».

Встал. Прошёл на кухню. Включил свет. Банка стояла на столе. Он взял её. Открутил крышку. Понюхал. Слива. Сладкая, густая, с косточками. Он взял ложку. Зачерпнул. Поднёс ко рту. Остановился. Поставил ложку. Закрутил крышку. Убрал банку в шкаф. На верхнюю полку. Чтобы не видеть.

Пошёл в кабинет. Лёг. Закрыл глаза. Не спал. Слушал, как в трубах щёлкает вода. Думал: «Митя сказал: я уже там». Думал: «Он прав». Думал: «Я не знаю, где "там". Но он уже там. А я — здесь. И не могу его догнать».

Утром он пришёл в больницу раньше всех. В шесть. В отделении было тихо. Он прошёл мимо шестой палаты — теперь там лежал другой ребёнок, не Пашка. Мальчик с аппендицитом, после операции, уже почти здоровый. Андрей не остановился. Пошёл в паллиатив. В четвёртую палату. Митя спал. Лена сидела рядом. Не спала. Смотрела на сына.

Андрей остановился в дверях. Не вошёл. Лена подняла голову. Увидела его. Ничего не сказала. Отвела взгляд. Он постоял. Пошёл в ординаторскую. Сел за стол. Открыл журнал. Начал писать. Буквы получались ровные, аккуратные, как у человека, который никогда не сомневается.

Глава 6. Квартира

Лена проснулась в шесть, хотя смена начиналась в восемь. Привычка: тело само поднимало её за два часа до будильника, и оно же не давало вернуться в сон. Она лежала в постели, слушала, как за окном дворник скребёт асфальт лопатой — рано, ещё темно, ноябрь. За стеной, в комнате Мити, было тихо. Митя спал. Или не спал — она уже не различала.

Она встала. Надела халат — старый, фланелевый, с оторванной пуговицей на груди. Посмотрела на себя в зеркало в ванной: тёмные волосы, собранные в хвост, бледное лицо, серо-зелёные глаза с тенями под ними. Тридцать девять лет. Она выглядела на сорок пять. Или на пятьдесят. Она не считала.

В квартире пахло пылью и чем-то ещё — застоявшимся, кислым, как будто здесь давно не проветривали. Она открыла окно на кухне. Впустила холод. Поставила чайник. Села за стол. На столе лежал рисунок Мити — солнце, дом, два человечка, третий без лица. Она взяла его. Посмотрела. Положила обратно. Не потому, что не хотела видеть. Потому что видела каждый день.

Андрей спал в кабинете. Она знала это по тишине — он не храпел, но когда спал, в квартире становилось по-другому: как будто кто-то выключил невидимый мотор. Она не заглядывала. Уже неделю не заглядывала. С того дня, как он подписал протокол, она перестала входить в кабинет. Не из принципа. Просто не могла.

Она выпила чай. Оделась. Вышла из дома в семь.

Поликлиника была на другом конце города — три остановки на автобусе, потом пешком через дворы. Лена шла быстро, не смотрела по сторонам. Утро было серым, без солнца. Люди шли на работу — сонные, с пакетами, с детьми за руку. Она смотрела на них и думала: «У них всё нормально. У них дети не в паллиативе. У них мужья не выбирают между чужими и своими».

В кабинете её ждала очередь. Пять человек — мамаши с детьми, бабушка с внуком, молодой отец с девочкой на руках. Лена надела халат. Села за стол. Первая — женщина лет тридцати, с мальчиком шести лет. Мальчик кашлял. Женщина смотрела на Лену с той тревогой, которая появляется у матерей, когда они не спят третью ночь.

— Здравствуйте, — сказала Лена. — Что случилось?

— Он кашляет. Всю ночь. Температура тридцать восемь.

Лена взяла стетоскоп. Выслушала. Посмотрела горло. Мальчик сидел смирно, смотрел на неё большими глазами — испуганными, но любопытными.

— Бронхит, — сказала она. — Не страшно. Вот рецепт. Антибиотик, ингаляции. Через три дня — на приём.

Женщина выдохнула. Плечи опустились. Она вдруг улыбнулась — коротко, благодарно, как улыбаются люди, которым только что сказали, что всё будет хорошо.

— Спасибо, доктор.

— Не за что.

Они ушли. Лена смотрела на закрытую дверь. Думала: «Я им говорю: всё будет хорошо. Я им вру. Иногда — вру. Но сейчас — правда. У этого мальчика будет всё хорошо. У него будет завтра. У него будет послезавтра». Думала: «У Мити не будет».

Следующий. Бабушка с внуком — насморк, ничего серьёзного. Потом молодой отец с девочкой — сыпь, аллергия. Потом ещё одна мамаша — живот, газы. Лена работала. Руки

делали своё: стетоскоп, рецепты, направления. Голос был ровный, спокойный. Она умела так — отделять себя от того, что говорит. Двадцать лет практики.

В двенадцать — перерыв. Она вышла на улицу. Купила кофе в ларьке. Села на скамейку во дворе. Ноябрьское солнце — бледное, без тепла — висело над крышами. Она пила кофе. Смотрела на голубей. Думала: «Я здесь. Я пью кофе. Я живая. А Митя — там. В паллиативе. И Андрей — там. Или в кабинете. Или в больнице. Где угодно. Только не здесь. Только не со мной».

Она достала телефон. Посмотрела на экран. Ничего. Ни звонка, ни сообщения. Андрей не писал. Она не писала. Между ними была тишина — не злая, а пустая, как комната, из которой вынесли мебель.

Она допила кофе. Вернулась в кабинет.

После работы — в больницу. Каждый день. Она не могла иначе. Митя лежал в четвёртой палате, на кровати у окна. Худой, с закрытыми глазами, с трубкой в носу — кислород. Он почти не просыпался. Когда просыпался — говорил мало. Смотрел на неё. Иногда улыбался — слабо, одними губами.

Лена садилась рядом. Брала его за руку. Читала вслух — книги, которые он любил: «Карлсон», «Винни-Пух», «Маленький принц». Он слушал. Или не слушал. Она читала.

Сегодня она пришла в пять. Митя спал. Она села. Достала книгу — «Маленький принц», с картинками. Открыла на закладке. Начала:

— «Пятая планета была очень занятная. Она была меньше всех. Там помещался только фонарь и фонарщик...»

Митя не открыл глаз. Но его рука — худая, тёплая — чуть сжала её пальцы. Она продолжала читать.

В дверях появился Андрей. Лена не сразу заметила. Он стоял. Смотрел. Она подняла голову. Между ними было три шага и два дня молчания.

— Пришёл, — сказала она.

— Пришёл.

Он не вошёл. Постоял. Потом сказал:

— Я пойду. У меня... дела.

Она кивнула. Он ушёл. Лена смотрела на закрытую дверь. Думала: «Какие дела? В восемь вечера?» Думала: «Он не умеет. Он никогда не умел. Даже до Мити. Даже до протокола. Он всегда уходил. В работу. В кабинет. В молчание». Думала: «Я вышла за него, потому что он был надёжным. Он и сейчас надёжный. Он выбрал корпус. Он спас сотни. Он надёжный. И я не могу его простить».

Она продолжила читать. Митя спал.

Андрей вышел из больницы в половине девятого. Не поехал домой. Сел в машину. Завёл. Поехал.

Квартира Виктора была в старом доме на окраине — пятиэтажка, без лифта, с облупленным фасадом. Андрей нашёл адрес в документах отделения — Виктор числился санитаром, и его адрес был в карточке. Он не знал, зачем едет. Просто ехал.

Поднялся на четвёртый этаж. Позвонил. Дверь открылась через минуту. Виктор стоял в дверях — в домашних штанах, в растянутой футболке, босиком. Худой, сутулый, с длинным лицом и глубокими морщинами. Светлые глаза смотрели без удивления.

— Андрей Петрович.

— Виктор.

Пауза. Виктор отступил.

— Заходите.

Квартира была маленькой — две комнаты, кухня, коридор. Чисто. Очень чисто — как будто здесь каждый день мыли полы. Пахло хлоркой и чем-то ещё — старым, застоявшимся,

как в больнице. На стенах — фотографии. Много. Сын — мальчик, юноша, мужчина. Один и тот же человек в разном возрасте. На полке — книги, аккуратно расставленные. На столе — бутылка водки. Не открытая. Просто стояла. Как предмет.

Виктор провёл его на кухню. Маленькая, с клеёнкой на столе. Два стула. Он сел. Андрей сел напротив.

— Чай? — спросил Виктор.

— Не надо.

— А я выпью.

Он налил себе чаю. Сел. Бутылка стояла между ними — на столе, в центре. Виктор на неё не смотрел. Андрей смотрел.

— Вы не пьёте, — сказал Андрей.

— Не пью. Но держу. — Виктор усмехнулся. — Это как с женщинами. Можно держать, но не трогать.

Он отпил чай. Поставил чашку. Посмотрел на Андрея.

— Вы пришли спросить?

— Спросить.

— О чём?

— Как вы живёте.

Виктор помолчал. Посмотрел в окно. За окном было темно. Потом сказал:

— Плохо. Но не так, как вы думаете. Я не мучаюсь. Я не каюсь. Я не прошу прощения у Бога. Я просто... — он поискал слово. — Я просто живу. Каждый день. Мою полы. Хожу в магазин. Смотрю телевизор. Иногда звоню сыну. Он не берёт. Или берёт — на минуту. Говорит: «Пап, я занят». Я говорю: «Хорошо». И всё.

— Он знает?

— Что я сделал? — Виктор посмотрел на него. — Нет. Не знает. Он думает, что я просто уволился. Что я спился. Он не знает, что я забрал аппарат. Он думает, что аппарат был свободен. Что ему повезло. Что Бог дал.

— А вы не сказали.

— Не сказал. — Виктор отпил чай. — Зачем? Чтобы он знал, что его жизнь — это чья-то смерть? Чтобы он жил с этим? Нет. Я живу с этим. Один. Это моя цена.

Он замолчал. Посмотрел на фотографию на стене — сын, взрослый, в костюме, на фоне какого-то офиса. Улыбается. Не ему — фотографу.

— Вы знаете, что самое страшное? — сказал Виктор. — Не то, что я сделал. Не то, что я забрал аппарат. Самое страшное — что я до сих пор не знаю, правильно ли. Я не каюсь. Я бы снова так сделал. Но я не знаю. И это не проходит. Каждый день — не проходит.

Андрей смотрел на него. На его руки — длинные, худые, с вздутыми венами. На его лицо — морщины, светлые глаза. На бутылку на столе.

— Вы работаете санитаром, — сказал Андрей. — В той же больнице.

— В той же.

— Почему?

Виктор усмехнулся.

— Вы думаете, я не могу найти другую работу? Могу. Я врач. Хороший врач. Мне предлагали. В другом городе. В частной клинике. Я отказался.

— Почему?

— Потому что я должен быть там. Каждый день. Я должен видеть этих детей. Я должен мыть полы. Я должен помнить.

Он встал. Поставил чашку в раковину. Открыл шкаф. Достал банку — стеклянную, с закрученной крышкой. Внутри — что-то тёмное. Варенье. На крышке — белая этикетка, от руки: «Спасибо».

— Это мне принесли, — сказал Виктор. — Пять лет назад. Мать того ребёнка. Того, которому не достался аппарат. Она принесла. Сказала: «Спасибо». Я не понял. За что? Она сказала: «За то, что вы спасли своего сына. Я бы тоже так сделала». И ушла.

Он поставил банку на стол. Рядом с бутылкой.

— Я не открываю, — сказал он. — Стоит. Пять лет. Я не знаю, зачем. Может, чтобы помнить. Может, чтобы не забыть.

Андрей смотрел на банку. На этикетку. «Спасибо». Кривые буквы. Как у Олега. Как у того отца. Как у всех, кто не знает.

— Я тоже получил, — сказал Андрей. — Банку. Варенье. От отца спасённого мальчика.

Виктор кивнул.

— И вы не открыли.

— Не открыл.

— И не откроете.

— Не открою.

Они сидели молча. Бутылка. Две банки. Одна на столе, другая — в шкафу у Андрея. Два человека, которые сделали разный выбор. И получили одинаковую благодарность.

— Виктор.

— Что?

— Вы знали Ковалёва? Двадцать лет назад?

Виктор помолчал. Посмотрел на него.

— Знал. Он тогда был заведующим. Как вы. У него сын умер. Менингит. Он отдал аппарат чужому. Заместителю министра. Сын умер. А он получил должность. Через год — главврач. Через два — квартира. Через пять — машина. Он не просил. Ему дали.

Андрей молчал. Виктор смотрел на него.

— Вы думаете, он жалеет? — спросил Виктор. — Жалеет. Каждый день. Но он взял. Взял квартиру. Взял машину. Взял должность. Потому что если не взять — значит, всё было зря. А он не мог этого допустить. Он должен был найти смысл. Хоть какой-то.

— И нашёл?

— Не знаю. Спросите у него.

Андрей встал. Подошёл к окну. Посмотрел на улицу. Темно. Фонари. Машины. Люди.

— Виктор.

— Что?

— Вы бы снова так сделали?

Виктор помолчал. Потом сказал:

— Я вам уже говорил. Я бы снова так сделал. И это самое страшное.

— Почему страшное?

— Потому что это значит, что я не изменился. Что я всё тот же. Что я готов снова. И я не знаю, хорошо это или плохо. Я просто знаю, что это так.

Андрей повернулся. Посмотрел на него. На его лицо. На его глаза. Светлые, усталые, спокойные.

— Я пойду, — сказал Андрей.

— Идите.

Андрей пошёл к двери. В коридоре остановился. Обернулся.

— Виктор.

— Что?

— Спасибо.

Виктор усмехнулся.

— За что?

— За то, что вы мне сказали.

— Я вам ничего не сказал. Я просто живу.

Андрей кивнул. Вышел. Дверь закрылась.

Он спустился по лестнице. Сел в машину. Не завёл. Сидел. Смотрел на окна дома. На четвёртом этаже горел свет. Виктор стоял у окна. Смотрел вниз. Или не смотрел. Андрей не знал.

Он завёл машину. Поехал домой. По дороге думал: «Он держит бутылку. Не пьёт. Но держит». Думал: «Он держит банку. Не открывает. Но держит». Думал: «Он держит сына. Не звонит. Но держит». Думал: «Я тоже держу. Всё держу. И ничего не открываю».

Дома он прошёл на кухню. Открыл шкаф. Достал банку. Поставил на стол. Рядом — рисунок Мити. Солнце, дом, два человечка, третий без лица. Он сел. Смотрел на банку. На рисунок. На часы на руке — отцовские, с потёртым ремешком.

Он взял карандаш. Посмотрел на рисунок. Долго. Потом нарисовал третьему человечку лицо. Простое: две точки вместо глаз, чёрточка вместо рта. Получилось непохоже. Но лицо.

Он положил карандаш. Посмотрел на рисунок. Потом взял ластик. Стёр. Осталось пустое место.

Он встал. Убрал банку в шкаф. Пошёл в кабинет. Лёг на диван. Пружина упиралась в поясницу. Он лежал с открытыми глазами. Слушал, как в трубах щёлкает вода. Думал: «Виктор держит. Я держу. Все держат». Думал: «И никто не открывает».

Он закрыл глаза. Не спал.

Глава 7. Интерн

Тимур пришёл в отделение в понедельник, в восемь утра, с рюкзаком за плечами и стопкой документов под мышкой. Ему было двадцать шесть. Он был высоким — метр восемьдесят пять, не меньше, — и от этого казался ещё моложе, чем был. Худой, с длинными руками, которые он не знал, куда девать: то засовывал в карманы халата, то складывал на груди, то прятал за спину. Волосы тёмные, густые, стриженные коротко, но с одной прядью, которая упрямо падала на лоб. Лицо открытое, с широкими скулами и ямочкой на подбородке — такая бывает у людей, которые много улыбаются. Глаза карие, живые, с тем блеском, который появляется у студентов, ещё не видевших, как умирают дети.

Он стоял в ординаторской, переминаясь с ноги на ногу, и смотрел на Андрея так, как смотрят на человека, о котором читали в учебниках.

— Андрей Петрович? Я Тимур. Из института. На практику.

Андрей поднял голову от бумаг. Посмотрел на него. Долго. Тимур не отвёл взгляда — наоборот, выпрямился, будто его проверяли.

— Кто вас направил?

— Кафедра. Я на шестом курсе. Хочу в реанимацию. Детскую.

— Почему?

Тимур помолчал. Потом сказал:

— Потому что здесь решается. Всё остальное — потом.

Андрей отложил ручку. Откинулся на спинку стула. Стул скрипнул.

— Здесь не решается, — сказал он. — Здесь работает. Решается — в кабинетах. Наверху.

— Я знаю. Но всё равно. Здесь — настоящие.

Андрей смотрел на него. На его руки — длинные, с обкусанными ногтями. На его халат — новый, ещё с биркой на воротнике. На его глаза — горячие, нетерпеливые. Он помнил себя таким. Двадцать лет назад. Когда всё было просто: есть правильное, есть неправильное, и ты выбираешь правильное, потому что иначе не можешь.

— Хорошо, — сказал Андрей. — Настя вас введёт в курс. Палаты — не одни. Сначала смотрите. Потом спрашивайте. Потом — с мной. Ясно?

— Ясно.

— И ещё. Если увидите что-то, что вас удивит, — не делайте вид, что не удивились. Говорите. Мне нужно знать, что вы видите.

Тимур кивнул. Вышел. Андрей смотрел на закрытую дверь. Думал: «Он ещё не знает. Он думает, что здесь спасают. Он не знает, что здесь выбирают».

К обеду Тимур уже был в паллиативе. Андрей застал его у четвёртой палаты — он стоял у стекла, смотрел на Митю. Не входил. Просто стоял. Андрей подошёл. Встал рядом. Тимур не обернулся.

— Это ваш сын? — спросил он тихо.

— Мой.

— Мне сказали. Настя.

Андрей кивнул. Тимур помолчал. Потом сказал:

— Я не знаю, что говорить.

— Ничего не говори.

— Но я хочу.

— Хотеть — не значит мочь. Здесь все хотят. И никто не может.

Тимур повернулся. Посмотрел на него. В его глазах было что-то новое — не жалость, не страх. Что-то, похожее на злость.

— Почему он здесь? — спросил Тимур. — Почему не в реанимации? Там же аппараты. Там же можно.

Андрей смотрел на Митю. Митя спал. Дышал — медленно, с присвистом. Рука лежала на одеяле — худая, с тонкими пальцами.

— Потому что аппарат один, — сказал Андрей. — И он занят.

— Кем?

— Мальчиком. Сыном чиновника.

Тимур молчал. Долго. Потом сказал:

— Это неправильно.

— Да.

— Почему вы не...

— Потому что если бы я сделал иначе — не было бы корпуса. Не было бы сотен мест. Не было бы шанса у других.

— Но ваш сын...

— Мой сын умирает. И это — цена.

Тимур смотрел на него. В его глазах злость боролась с чем-то другим — с пониманием. Он ещё не знал, что понимание хуже злости.

— Я бы так не смог, — сказал он.

— Сможете, — сказал Андрей. — Когда придётся.

Он пошёл дальше по коридору. Тимур остался стоять у стекла. Смотрел на Митю. Андрей знал, что он сейчас думает: «Я никогда не буду таким. Я никогда не предам своего ребёнка. Я никогда не выберу общество вместо семьи». Андрей знал это, потому что сам так думал. Двадцать лет назад. У постели отца, который умирал в коридоре.

В среду Тимур ассистировал на операции. Мальчик, десять лет, аппендицит, перитонит. Простая операция — если её сделать вовремя. Её сделали вовремя. Тимур стоял рядом с Андреем, держал крючки, подавал инструменты. Руки у него были твёрдые — не дрожали. Андрей наблюдал за ним краем глаза. Хорошие руки. Хорошая реакция. Он будет хорошим врачом. Если не сломается.

После операции, в ординаторской, Тимур снял шапочку. Волосы прилипли ко лбу. Лицо было красным, вспотевшим, но глаза горели.

— Это было... — он поискал слово. — Это было правильно.

— Что именно?

— Всё. Мы спасли его. Мы вошли, сделали, вышли. И он будет жить. Это правильно.

Андрей сел за стол. Достал из ящика папку. Открыл. Тимур не уходил. Стоял, смотрел на него.

— Андрей Петрович.

— Что?

— А как вы понимаете, что правильно?

Андрей поднял голову. Посмотрел на него. Тимур стоял — высокий, худой, с ямочкой на подбородке. Ждал ответа. Настоящего. Андрей помолчал. Потом сказал:

— Я не понимаю.

— То есть как?

— Я не понимаю, что правильно. Я понимаю, что необходимо. Это разные вещи.

Тимур нахмурился.

— Но вы же...

— Я подписываю протоколы. Я решаю, кому достанется аппарат. Я решаю, кого перевести в паллиатив. Я делаю это двадцать лет. И до сих пор не знаю, правильно ли.

— Но вы же спасаете людей.

— Я спасаю одних. И не спасаю других. И каждый раз, когда я это делаю, я не знаю, правильно ли. Я просто знаю, что иначе — тоже неправильно.

Тимур молчал. Андрей видел, как в его голове рушится что-то — простая картина мира, где есть хорошие врачи и плохие, где есть правильные решения и неправильные. Он хотел сказать ему: «Не рушь. Пока можешь — верь. Это потом пройдёт». Но не сказал. Потому что знал: это не поможет.

— Идите, — сказал Андрей. — У вас послеоперационный обход.

Тимур вышел. Андрей остался сидеть. Смотрел на папку. На протоколы. На подписи. Ровные, аккуратные, как у человека, который никогда не сомневается.

В четверг Тимур пришёл в паллиатив сам. Без задания. Андрей застал его в четвёртой палате — он сидел на стуле рядом с Митей и читал ему вслух. Книгу — «Маленького принца», с картинками. Митя не спал. Слушал. Глаза были открыты — ясные, спокойные.

Андрей остановился в дверях. Не вошёл. Тимур читал:

— «— Куда ты идёшь? — спросил Маленький принц. — Я иду к людям. У них нет корней, это очень неудобно».

Митя улыбнулся. Слабо, одними губами. Тимур поднял голову. Увидел Андрея. Замолчал.

— Продолжайте, — сказал Андрей.

— Я...

— Продолжайте.

Тимур продолжил. Андрей стоял в дверях. Смотрел на сына. На его лицо — худое, бледное, с тёмными кругами под глазами. На его руку — тонкую, лежащую на одеяле. На его улыбку — слабую, но настоящую. Митя не улыбался ему так уже неделю. А Тимуру — улыбнулся.

Андрей вышел. Пошёл в ординаторскую. Сел за стол. Достал рисунок — тот самый, с солнцем, домом, двумя человечками. Третий — без лица. Он смотрел на него. Долго. Потом положил обратно в ящик. Закрыл.

В пятницу случилось то, чего Андрей ждал и боялся. Митя перестал дышать сам. Не совсем — он дышал, но поверхностно, с паузами. Кислород не помогал. Лена была рядом. Андрей — на смене. Настя позвонила ему в четырнадцать сорок. Он прибежал через три минуты — из реанимации в паллиатив, через коридор, через пост, мимо людей, которые отступали в стороны.

Митя лежал на кровати. Глаза закрыты. Грудь поднималась — медленно, с трудом. Лена сидела рядом. Держала его за руку. Не плакала. Смотрела на сына. Андрей встал с другой

стороны. Взял вторую руку. Митя открыл глаза. Посмотрел на него. Потом на Лену. Потом опять на него.

— Пап, — сказал он. Голос был тихий, как шорох. — Я не боюсь.

Андрей сжал его руку. Митя улыбнулся — той же слабой улыбкой, что и Тимуру. Потом закрыл глаза. Дыхание выровнялось. Не стало лучше — просто выровнялось. Он заснул. Или не заснул. Андрей не знал.

Лена встала. Вышла из палаты. Андрей пошёл за ней. В коридоре она остановилась. Повернулась. Посмотрела на него. Глаза — серо-зелёные, сухие. Лицо — бледное, осунувшееся.

— Он сказал «я не боюсь», — сказала она. — А я боюсь. Я боюсь каждый день. Я боюсь, что он умрёт, когда меня не будет рядом. Я боюсь, что он умрёт, когда я буду рядом. Я боюсь, что он уже умер, а я не заметила.

Андрей молчал. Она смотрела на него. Ждала. Он не знал, что сказать. Он никогда не знал.

— Ты не боишься? — спросила она.

— Боюсь.

— Чего?

— Что он умрёт. И что я не смогу это вынести.

— Ты уже не выносишь, — сказала она. — Ты просто делаешь вид.

Она ушла. В паллиатив. К Мите. Андрей остался стоять в коридоре. Смотрел на закрытую дверь. Думал: «Она права. Я делаю вид. Я делаю вид двадцать лет. С отцом. С Митей. С ней. С собой».

В субботу Тимур нашёл его в ординаторской. Андрей сидел за столом. Перед ним лежал протокол — новый, на следующую неделю. Распределение мест. Снова выбор. Снова «правильно для всех».

Тимур стоял в дверях. Смотрел на него.

— Андрей Петрович.

— Что?

— Я хотел спросить.

— Спрашивайте.

Тимур вошёл. Сел напротив. Скрестил руки на груди — не вызывающе, а как человек, который замёрз.

— Вы бы хотели, чтобы ваш сын был на месте того мальчика? Пашки?

Андрей поднял голову. Посмотрел на него. Долго. Тимур не отводил взгляда.

— Нет, — сказал Андрей.

— Почему?

— Потому что я хочу, чтобы он был на своём месте. Здесь. Со мной. Живой.

— Но он не здесь.

— Не здесь.

— И вы всё равно не жалеете?

Андрей помолчал. Потом сказал:

— Я жалею каждый день. Каждую минуту. Но я не знаю, что было бы, если бы я сделал иначе. Может, было бы лучше. Может, хуже. Может, так же. Я не знаю.

— Но вы бы снова так сделали?

Андрей смотрел на него. На его лицо — молодое, открытое, с ямочкой на подбородке. На его глаза — карие, живые, с тем блеском, который ещё не погас. Он хотел сказать правду. Он всегда говорил правду. Это была его профессия — говорить правду, даже когда она убивала.

— Да, — сказал он. — Я бы снова так сделал. И это самое страшное.

Тимур молчал. Долго. Потом встал. Пошёл к двери. Остановился. Обернулся.

— Я не хочу быть вами, — сказал он.

— Я тоже не хотел.

Тимур вышел. Дверь закрылась. Андрей остался сидеть. Смотрел на протокол. На пустые графы. На ручку, лежащую рядом. Он взял её. Подписал. Буквы получились ровные, аккуратные, как у человека, который никогда не сомневается.

Глава 8. Пашка

Андрей знал, что рано или поздно это случится. Он откладывал, как откладывают разговор, который всё равно придётся начать. Каждое утро, проходя мимо детского отделения, он ускорял шаг. Не смотрел в сторону шестой палаты — теперь там лежал другой ребёнок, но память о той палате была сильнее. Он говорил себе: «Потом. Не сейчас». И шёл дальше.

Но в понедельник Настя сказала:

— Андрей Петрович, вас просят на консультацию. В детском. Пашка Логинов. Восстановление идёт не по плану.

Он поднял голову от бумаг. Посмотрел на неё. Настя стояла в дверях ординаторской — маленькая, с короткой стрижкой, с папкой в руках. Лицо спокойное. Глаза — внимательные.

— Что не по плану?

— Температура. Тридцать семь и восемь. Уже три дня. Хотят, чтобы вы посмотрели.

Андрей помолчал. Потом встал.

— Хорошо. Иду.

Детское отделение было на втором этаже — светлое, с жёлтыми стенами, с рисунками на стекле: солнце, облака, птицы. Андрей шёл по коридору, и каждый шаг отдавался в нём — глухо, как в пустой бочке. Он знал этот коридор. Он ходил по нему двадцать лет. Но сейчас он видел его другими глазами: вот здесь он стоял, когда подписывал протокол. Вот здесь Ковалёв сказал: «Ты сделал больше, чем любой из нас». Вот здесь он встретил Виктора.

Шестая палата была в конце коридора. Дверь приоткрыта. Андрей остановился. Вдохнул. Выдохнул. Толкнул дверь.

Пашка лежал на кровати — худой, бледный, с тонкими руками, которые торчали из широких рукавов пижамы. Ему было восемь, но выглядел он на шесть: маленький, с острыми плечиками, с большой головой, которая казалась слишком тяжёлой для его шеи. Волосы — светлые, редкие, ещё не отросли после химии. Глаза — серые, большие, с длинными ресницами. Он смотрел на Андрея с любопытством, без страха.

Рядом сидела женщина. Марина. Жена Олега. Андрей видел её мельком — на фотографии, которую показывал Олег. Теперь — вживую: худая, с усталым лицом, с волосами, собранными в пучок. На ней был свитер — домашний, вязаный, с растянутым воротом. Руки — красные, обветренные, с коротко стриженными ногтями. Она встала, когда он вошёл.

— Андрей Петрович? — сказала она. — Олег говорил о вас. Вы нас спасли.

Андрей кивнул. Не сказал ничего. Подошёл к кровати. Взял карту — историю болезни, которую ему протянула медсестра. Прочитал. Температура — тридцать семь и восемь. Анализы — в норме. Посев — чистый. Восстановление — медленное, но без осложнений.

— Пашка, — сказал он. — Как ты себя чувствуешь?

Мальчик посмотрел на него. Серьёзно. Как взрослый.

— Нормально. Только голова болит. И спать хочется.

— Это пройдёт.

— А когда?

— Скоро.

Пашка кивнул. Помолчал. Потом сказал:

— А вы кто?

— Я врач. Заведующий отделением.

— А почему вы такой грустный?

Андрей замер. Марина сказала:

— Пашка, не приставай.

— Я не пристаю. Я спрашиваю.

Андрей посмотрел на него. На его лицо — худое, бледное, но живое. На его глаза — серые, большие, с любопытством. На его руки — тонкие, лежащие на одеяле.

— Я не грустный, — сказал он. — Я устал.

— А почему?

— Много работы.

Пашка кивнул. Принял ответ. Дети верят взрослым, когда те говорят простые вещи.

— А у меня папа тоже устаёт, — сказал он. — Он на заводе работает. Приходит и сразу спать ложится. А потом встаёт и говорит: «Пашка, ты как?» А я говорю: «Нормально». А он говорит: «Молодец». И идёт на кухню. А мама говорит: «Олег, сядь, поешь». А он говорит: «Я не голодный». А потом всё равно ест.

Он говорил быстро, захлёбываясь, как дети, которые долго молчали и вдруг нашли слушателя. Андрей слушал. Не перебивал. Марина смотрела на сына. На её лице было что-то — не улыбка, а тень улыбки, которая появляется у матерей, когда их дети говорят глупости, а они всё равно рады.

— А вы знаете, что я умею? — спросил Пашка. — Я умею свистеть. Хотите, покажу?

— Покажи.

Пашка набрал воздуха. Свистнул — тонко, с присвистом, но получилось. Улыбнулся. Гордо.

— Здорово, — сказал Андрей.

— Ага. Меня папа научил. Он говорит: «Мальчик должен уметь свистеть. Это важно». А мама говорит: «Это не важно. Это глупо». А папа говорит: «Это не глупо. Это жизнь».

Андрей смотрел на него. На его улыбку. На его гордость. На его тонкие руки, которые держали одеяло. Думал: «Он жив. Он свистит. Он говорит о папе и маме. Он не знает, что за его жизнь заплачено». Думал: «Он не должен знать. Никогда».

Марина сказала:

— Пашка, хватит. Доктор пришёл тебя посмотреть, а не слушать твои истории.

— Я и говорю, чтобы он посмотрел, — сказал Пашка. — Я же не мешаю.

Андрей посмотрел его. Послушал сердце. Лёгкие. Горло. Всё было в порядке. Температура — субфебрильная, но это нормально после химии. Организм восстанавливался. Медленно, но правильно.

— Всё хорошо, — сказал Андрей. — Продолжайте по плану. Если температура поднимется выше тридцати восьми — скажите.

Марина кивнула. Пашка сказал:

— А вы ещё придёте?

— Приду.

— А когда?

— Скоро.

— А вы не обманете?

Андрей посмотрел на него. На его лицо — серьёзное, без улыбки. Дети умеют быть серьёзными, когда спрашивают о важном.

— Не обману, — сказал он.

Пашка кивнул. Удовлетворённый. Откинулся на подушку.

Андрей вышел из палаты. В коридоре остановился. Прислонился к стене. Закрыл глаза. Думал: «Он свистит. Он говорит о папе и маме. Он жив. И Митя...». Он открыл глаза. Пошёл дальше по коридору. Быстро. Не оглядываясь.

В ординаторской он сел за стол. Достал из ящика рисунок. Солнце, дом, два человечка, третий без лица. Посмотрел. Долго. Потом положил обратно. Закрыл ящик. Взял ручку. Начал писать — что-то, что не имело значения: отчёт, который нужно было сдать ещё вчера. Буквы получались ровные. Рука не дрожала. Это было странно. Он думал, что будет дрожать.

Вошла Настя. Поставила на стол чашку кофе. Без сахара. Молча. Он поднял голову. Посмотрел на неё. Она смотрела на него — прямо, без насмешки, но и без тепла.

— Как Пашка? — спросила она.

— Нормально. Восстанавливается.

— А вы?

Он не ответил. Она кивнула. Вышла. Дверь закрылась. Он посмотрел на чашку. Кофе был горячий. Пар поднимался над ним — тонкий, дрожащий. Он взял чашку. Отпил. Поставил обратно.

Вечером он пришёл в паллиатив. Митя спал. Лена сидела рядом — с книгой на коленях, не читала. Смотрела на сына. Андрей остановился в дверях. Не вошёл. Лена подняла голову. Увидела его. Ничего не сказала. Отвела взгляд.

Он вошёл. Сел на стул с другой стороны. Митя спал. Дышал — медленно, с паузами. Андрей взял его за руку. Рука была тёплая. Худая. С тонкими пальцами.

— Сегодня я видел Пашку, — сказал он тихо. — Того мальчика. Он свистит. Его папа научил. Он говорит, что мальчик должен уметь свистеть. Это важно.

Лена не ответила. Смотрела на Митю. Её лицо было спокойным — слишком спокойным, как у человека, который держится из последних сил.

— Лена.

— Что?

— Я не знаю, что сказать.

Она повернула голову. Посмотрела на него. Долго. Потом сказала:

— Ничего не говори. Просто сиди.

Он сидел. Держал Митю за руку. Лена держала другую. Между ними был сын — худой, бледный, спящий. И тишина — не злая, а глубокая, как вода в колодце. Они сидели так, пока не пришла ночная медсестра и не сказала, что пора уходить. Лена встала. Поцеловала Митю в лоб. Вышла. Андрей поцеловал его в щёку. Пошёл за ней. В коридоре она сказала:

— Ты сегодня не ночуешь дома?

— Не знаю.

— Не ночуй. Я хочу побыть одна.

Он кивнул. Она ушла. Он остался стоять в коридоре. Смотрел на закрытую дверь паллиатива. Потом пошёл к выходу.

Ночью он сидел в машине у дома. Не выходил. Смотрел на окна. В квартире горел свет — Лена была дома. Или не была. Он не знал. Он сидел и думал: «Пашка свистит. Митя спит. Лена не хочет меня видеть. Виктор держит бутылку. Ковалёв держит фотографию. Все держат. И никто не открывает».

Он достал телефон. Посмотрел на экран. Ничего. Ни звонка, ни сообщения. Он набрал номер матери. Она ответила после третьего гудка.

— Андрюша? Что случилось?

— Ничего, мам. Просто звоню.

— Ты никогда просто не звонишь.

Он помолчал. Потом сказал:

— Митя в больнице.

— Что с ним?

— Опухоль. Ствол. Неоперабельная.

Тишина. Долгая. Он слышал, как она дышит — тяжело, с хрипом.

— Почему ты раньше не сказал?

— Не знал, как.

Она молчала. Потом сказала:

— Ты всегда так. Ты всегда не знаешь, как. Ты как отец. Он тоже не знал. И я узнавала всё последней.

— Мам.

— Что?

— Прости.

Она вздохнула. Не с укором — просто вздохнула, как человек, который устал ждать.

— Приезжай, — сказала она. — Приезжай и привези Лену. И Митю. Я хочу его увидеть.

— Мам, он не может.

— Тогда приезжай один.

— Приеду.

— Когда?

— Скоро.

Она помолчала. Потом сказала:

— Ты всегда так говоришь.

— Я знаю.

— Ладно. Звони.

Он положил трубку. Поставил телефон на панель. Посмотрел на окна. Свет в квартире погас. Лена легла спать. Или не спала. Он не знал. Он завёл машину. Поехал в больницу. Не потому, что решил. Потому что больше некуда было.

В паллиативе было тихо. Дежурная медсестра спала на посту. Андрей прошёл мимо. В четвёртой палате горел ночник. Митя спал. Андрей сел на стул. Взял его за руку. Сидел. Смотрел на его лицо — худое, бледное, с длинными ресницами. Митя был похож на мать. И на отца. И на деда. И на всех, кто был до него. И на всех, кто будет после.

Он сидел так до утра. Не спал. Держал сына за руку. Думал: «Пашка свистит. Митя спит. Я держу его за руку. И это всё, что я могу». Думал: «И этого достаточно. Или нет. Я не знаю».

Утром пришла Лена. Увидела его. Остановилась в дверях. Ничего не сказала. Подошла. Села на второй стул. Взяла Митю за вторую руку. Они сидели молча. Между ними был сын. И тишина. И утро. И свет — ровный, как в палате.

Глава 9. Доска почёта

В понедельник утром в коридоре третьего этажа появилась доска. Андрей заметил её сразу — она висела напротив поста, между дверью ординаторской и входом в реанимацию. Стеклянная витрина, деревянная рамка, внутри — фотографии. Пять штук. В центре — его собственная. Пиджак, галстук, лицо серьёзное, глаза смотрят в объектив с тем выражением, которое фотографы называют «профессиональным». Под фотографией — табличка: «Соколов Андрей Петрович. Заведующий отделением реанимации. За вклад в развитие больницы».

Он остановился. Посмотрел. Фотография была старая — сделана года три назад, на каком-то юбилее, куда его затащили насильно. Он не помнил, как она попала в отдел кадров. Лицо на ней было чужим: гладкое, без морщин, без теней. Человек, который никогда не подписывал протоколов.

Мимо шла Настя. С папкой, с чашкой кофе в другой руке. Увидела его. Увидела доску. Не остановилась. Прошла мимо. Только плечо чуть дёрнулось — как будто она хотела обернуться, но передумала.

Андрей пошёл в ординаторскую. Сел за стол. Открыл журнал. Цифры расплывались. Он смотрел на них и не видел.

Вошёл Ковалёв. Без стука. В костюме — тёмно-синем, с белой рубашкой, с галстуком, который был завязан слишком туго. Лицо у него было торжественное — не радостное, а именно торжественное, как у человека, который готовится произнести речь.

— Видел? — спросил он.

— Видел.

— Хорошо. Сегодня в три — общее собрание. Будет министерство. Пресса. Ты скажешь слово.

— Я не умею говорить.

— Научишься. Две минуты. Ничего сложного. Поблагодаришь, скажешь, что это общая заслуга. Люди любят, когда говорят «общая заслуга».

Андрей посмотрел на него. Ковалёв стоял в дверях — грузный, с одышкой, с очками в тяжёлой оправе. Он был доволен. Не собой — ситуацией. Финансирование пришло. Корпус будет. Доска висит. Всё идёт по плану.

— Виктор Андреевич.

— Что?

— Зачем доска?

Ковалёв помолчал. Потом вошёл. Сел напротив. Снял очки. Протёр. Надел обратно. Это был его способ подумать.

— Затем, что люди должны видеть, — сказал он. — Не тебя. Себя. Они должны видеть, что их работа имеет значение. Что они не просто ходят сюда каждый день, а делают что-то важное. Доска — это не про тебя. Это про них.

— А про меня?

— Про тебя — потом. Когда всё закончится. Тогда ты сможешь думать про себя. Сейчас — думай про них.

Он встал. Пошёл к двери. Остановился.

— В три. Не опаздывай.

Вышел. Андрей остался сидеть. Смотрел на журнал. Цифры расплывались.

В три часа в актовом зале собрались люди. Много — человек пятьдесят, может, больше. Врачи, медсёстры, санитарки, администрация. Пришли из министерства — двое мужчин в костюмах, с папками. Пришла пресса — женщина с фотоаппаратом и молодой человек с блокнотом. Пришёл Логинов — в дорогом пальто, с женой. Их сын был дома, с няней. Логинов жал руки, улыбался. Он был счастлив.

Андрей стоял в стороне. Смотрел. Ковалёв говорил речь — про больницу, про будущее, про то, что вместе мы сила. Люди хлопали. Логинов говорил речь — про то, что медицина — это призвание, про то, что он рад помочь, про то, что его сын жив благодаря врачам. Люди хлопали. Министерские мужчины говорили речь — про реформы, про эффективность, про то, что нужно равняться на лучших. Люди хлопали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.